

Феноменология праздности

АНДРЕЙ МЕТЛЁВ

Мне скучно, бес...

А. С. ПУШКИН

Писать о праздности — занятие вполне праздное, ввиду того, что праздность для себя не проблема. Так, безделица. Своего рода заменитель свободы. Коль воли нет, ее функцию выполняет безволие или отказ от всего во имя всего. Зависть, возведенная в идеологию. Независимость, ее кажимость, которая может существовать только ввиду зависимости. Независимость, поспешно сменяющаяся бессвязностью и непоследовательностью, как попыткой ускользнуть от «дней связующей нити». Проба времени на «разрыв» (совсем не похожий на «Устройство разрыва» С. Жижека, для которого это «найденный объект», свершившийся факт, провал, обнаружение коего вызывает нестерпимое желание собирать деньги, чтобы не проваливался, что и делает с успехом «смелый» и шустрый философ, окучивая выпавший ему счастливый случай). Разрыв не только со своим временем, но и со временем вообще и деятельной сущностью человека, чувственно-практической в частности. Воплощенная мечта о несвязанности вплоть до бессвязности. Попытка собрать себя по частям зачастую. Перестать быть частным.

Это, в частности, — случай человека «без свойств», сущность «одномерного человека», мерой которому — частная собственность, чувство обладания и абстракция стоимости, где чувственность прилагается и налагается епитимьей. Мелкая месть миру, почитающему деятельность основой всему, но со стороны индивидуализма, достигшего своего края, — быть только основанием для собственности, оставаясь по существу ничем. Причем собственности абсурдной, иррациональной как присвоение ничто, вернее пустоты. (Если верить А. В. Босенко, ничто — предстоящая бесконечность, а «пустота» — бесконечность прошлого, отработанного времени, свобода которого в разложении идеальной метафизической опустошенной вещи, по мере своего умирания отпускающее на свободу не только аккумулярованный, сконденсированный, превращенный в мертвый живой труд, но и собственно неприкаянное окаянное время бесконечного воспроизводства в одной и той же определенности, поэтому индивидуализм изжил себя во всех возможных и невозможных формах, сосредоточившись на гениталиях, чему свидетельство

буйный фрейдизм, залакированный столь популярными в среде обывателей «лакановскими семинарами» и прочими гламурными штуками, штуковинами и неприкрытой хренотенью, не дотягивающей в импотенции даже до обыкновенной порнографии.) Глумление действием над всем остальным, оставленным и потому гонимым.

И это отнюдь не «праздник, который всегда с тобой». Совсем нет. Это — совсем «нет», обреченное на праздношатание, шляние по миру без особого любопытства, без страсти, без чувств, без желаний, в непотребности. «Лишний человек?», как бы не так. Онегин и Печорин, Обломов, наконец — безнадежно устаревшая архаика, которые ни одна лавка древности не примет даже с доплатой. Герои Томаса Манна, Фицджеральда, Камю, Сартра, Гессе, и т. д., все эти «степные волки», «улисссы», леверкюны, и т. д., вытощенные историческим действием, давно сданы в пункты по переработке вторсырья, которым оказался и живой «маленький» и не очень живой «большой» человек. Роль человека, порожденная нуждой. Маска, личина, харя, приросшая намертво, а в других случаях прекрасно функционирующая и без человека вовсе. Существо, имитирующее жизнь, старательно изображающее ее, совершенство которого в абсолютной ненужности. Человек в смысле половой. Движение утопленника по течению. Если бы хотя бы дуракаваляние. Чрезвычайно трудное дело ничегонеделания. Заветная мечта обслуживающего персонала. (А по существу праздность — попытка дарить время, «Donner le Temps», по вышедшему из моды Ж. Деррида, когда оно утеряно и найдено Прустом, чужое время, пытаюсь придать праздности вид аристотелевского «высокого досуга», но обретая только досужие вымыслы о...; но все же сочиняя «Семь» праздных отдохновений, исходя из наставлений Лю Юя, праздну ссылаюсь на книгу А. А. Маслоу исключительно из-за красивого названия: «Колокольцы в пыли: Странствия мага и интеллектуала», М., 2003, с. 275–282).

Праздность и праздность (без)различны в себе. (Я бы осмелился писать «праздность» и даже «празнсть» как некоторая прозаичность праздности). В этом безразличии, в безличности, нивелированной формой стоимости и вполне классическим одно, моно, уно, абстрактным обладанием, которое и чувством-то называться не смеет. Так, не-потребность, и потому задыхающимся в герметичности потребительной стоимости. Это не метеоритный, звездный дождь ранней юности индивидуализма, хоть как-то, случайным образом вспыхивающий на беспросветном небосклоне, а унылый метеоризм.

Есть праздность господствующего класса, порожденная присвоением свободного времени (как условия развития всех), которое загнивает от избытка, не освоенным. Мало накапливать время как нерабочее. Свободное время предполагает соответствующее действие уже не по контуру предмета, а, в сущности, по законам красоты. Праздный класс (не класс — под-класс) по своей сути призван уничтожать это время, которое представляется издержками производства, которые необходимо свести к минимуму, к необходимому и достаточному, но нуждающемуся в нужде. Время изводится, переводится и утилизируется. Поэтому и науку и культуру, искусство и образование (и сами наука, культура и образование, вкупе с искусством участвуют в этом) насильно заставляют стремиться к нулю, в крайнем случае, лишая воображения, всю потенциальную энергию развития направляют на воспроизведение в рамках необходимости (впрочем очень спорной). На оставшуюся часть распространяется экспансия индустрии развлечения, являющаяся способом утилитарной переработки времени в отходы. Мусор, обломки времени на свалках, в отвалах, зараженных вирусом иммунодефицита. Отходняк и ломка после зряшно убитого времени. Праздность — крайний случай, кромешность. Кромь — край, крайность. Это все, кроме человеческого. Это все остальное. Единство индивида, упраздненного до пустоты. Изъян бытия и отсутствие

жизни, замененной голым функционированием. Гаджет и бессознательное уничтожение. Живение.

Переизбыток производства свободного времени (на самом деле его катастрофический дефицит) рождает своеобразную идеологию нужды, страсти по озабоченности и занятости. Культ нужды общества потребления, о котором с таким упоением пишут все подвизающиеся на производстве потребностей, в праздности. Изменение формы общественного богатства с превращенной формы стоимости на непосредственное свободное время не произошло, время не опредметилось (овеществилось, покрывшись коростой вещей) и не превратилось в пространство развития.

Потому лакуна, каверна, изъян заполняется мертвым свободным временем, которое просто гниет, задыхаясь в своей неисполненности. Жизнь без продолжения, здесь и теперь, без прошлого и будущего, бывает от полноты бытия. Когда времени больше нет, потому что свободное время мгновение, но мгновение вечности. И бывает от нестачи бытия, опустошенности. Когда значимо лишь мгновение, сведенное к реакции/раздражителю. Видимость жизни. Гальванизация мертвого.

То есть на одном полюсе идеология и способ жизни по видимости праздного класса. На другом — абсолютный пауперизм и деклассированность. И не надо думать, что это бомжи и вообще люд, роющийся по помойкам, особой разницы между этими и классом экспроприаторов, оккупантов свободного времени нет. Этот обезволенный, не имеющий ни своих желаний, ни мышления, ни воображения является «средним классом» гражданского общества. «Я», которое так и не стало человеческим. Отличия прочитываются только по внешнему (внешнеторговому) признаку. Жизнь, полностью вывернутая на изнанку. Разность не радость. Отличие, без личности.

О преодолении личности и речи нет. Личность — маска. Отсюда старательно насаж-

даемое веселие карнавального бескультурья. Игра в себя, как в иное. Множащиеся кажимости, выказывающиеся виртуально и насаждаемые повсеместно. В обязательном новом порядке, всеми возможными и невозможными способами.

Некоторые филологи ведут праздность не от праздника, а от порожности, праздности, пусто-порожности (*укр.* — порожнечі), которая наталкивается на свой порог. А он — беспредельный предел. Смысл которого в нарушении запрета, потому так сладостен, в преступлении. В любом случае праздность — роскошь, а не свобода.

Собственно праздник, если брать банальное представление, укоренившееся в обыденном (обыденном) сознании культуртрегеров, вроде В. Н. Топорова, в архаической и религиозной, временящей (временящейся) традиции, — временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального, предполагающий максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в празднике и отмечаемый как некое институционализованное (даже если оно носит импровизационный характер) действо. А он носит всегда еще и примитивный, вулгарный характер, даже если изыскан и освящен священным обрядом посвящением.

Как традиционный праздник будничен, хотя и противопоставлен обычным дням будням. Он призван будить и «будировать» и носит скрытый принудительный, нудный характер, поскольку воспроизводится по возможности в законсервированных, однозначно воспроизводимых формах, без интерпретаций, появляющихся много позднее, когда он становится объектом так называемого «научного» анализа, допускающего всевозможные домыслы. Сам праздник немислим. И что бы ни говорили, что при более детальной дифференциации — особенно «необычным будням», так называемым «несчастливым дням» в идеале имеет целью достижение оптимального психофизического состояния его участников — от эйфории, связанной с достижением мира и/или богоощу-

щения, до восстановления некоего среднего, нейтрального обыденного уровня. (Праздник будней у Рильке, в стихотворении «Бог в средние века»: «И они его в себе несли, чтоб он был и правил в этом мире. // И привесили к нему как гири все соборы об едином клире. // Так от вознесенья стерегли..., чтобы был он будней или дней вожатый». Но ушел, гремя цепями Бог, а вместе с ним и проклятое время.) Экстаз «праздника Смерти» в Латинской Америке, отсюда же и столь любимая «серединными» веками «пляска смерти» и разворачивание дальше к первоистокам вглубь истории обратное отматывание традиции, извечное возвращение. Смысл праздника в нарушении трагической, отрицательной, безысходной ситуации, отказ от и преодоление события, вроде смерти, несчастья, ущерба, и попытка обмана при помощи жертвы. Пустота от дел. Полнота незаполненности. *Dies festi. Dies profesti. Feriae denicales* (дни рождения, поминки по умершим. Регулярность. Воскресение, когда «смертью смерть поправ»).

Главный праздник начинается с обостренным и напряженным ожиданием катастрофы мира. И это ожидание сопровождает жизнь всегда, как разворачивание смерти. Старый мир, Старое время. Распад и униженность. И мир, и время, и человек износились, Смерть вызрела и торжествует. Ожидание без надежды. Распад привычных форм. Силы хаоса одолевают космос. Печаль, траур, пост и скрепы в виде табу, запретов. Иногда наложение на себя дополнительных обетов вплоть до самоистязания. Истязание плоти и праздность, которая может носить и характер самоаскезы. Когда праздность может обретать форму ритуального самоубийства в виде разнузданности в пресыщении, либо отказа от мира, что в сущности одно и то же, поскольку нарушает устойчивую норму, принятую в обществе. В любом случае превалирует мотив умирания. И праздность как чудо, равное чуду первого творения из ничего, когда мановением «да будет!» (этим воплем возжелавшего чуда) обозначается действие, преодолевающее

косную материю, которая и есть ничто, небытие, порождающее время. Необходимо, нет, нужно (не необходимость, которая еще не властна, а слепая нужда, нужник бывания) идеально точное воспроизведение без ущерба того, что имело место в «первый раз», беззаботность первообраза и его явления, в том, как это было до всего последующего. (В случае праздного — он предтеча, но не первообраз, а воплощенная нужда оставленного, абсолютное невоплощение, ничтожество торжествующее. Он не творец, он продукт, как это случилось с богом). Поиск места и времени, где это происходило впервые. И праздник — всегда происходит «впервые», как первозданный акт творения. Праздник — творчество без творимого и сотворяемого. Полнота, без дальнейшего, без умаления и утраты. Перерыв в профанной деятельности, когда времени еще нет. Упразднение времени. Расчленение ритуального животного, вообще жертвы в случае праздности времени, которое на время теряет власть и «доведение работы хаоса до конца самого хаоса», до конца/начала космичности вообще. Лишь теперь, стеврев действительность до метафизического основания. До ничто. Можно начинать новое творение, можно начинать новым творением (вообще можно начинать что-либо, или не начинать), преодоление хтонических сил и синтезирование космоса. (Все это настолько замусолено в литературе, что нет смысла даже указывать многочисленную литературу. Следует только не терять сознания и не принимать все это за истину, памятуя, что это напластования поздних времен, осадочные породы, геологические пласты, где авторы или даже, отрефлектировавшая себя, поздняя и современная, будущая мифология пользуются прошедшим, но современным представлением о времени, как скальпелем, отдавая прошлое в качестве ритуальной жертвы, с подспудным желанием избавиться, как от прошлого, хватающего живого, так и от времени вообще). «Образ вселенной в виде жертвы обменивается на реальный мир, восставший из небытия» (В. Н. Топоров). Как следствие, например, Воз-

рождение (и не только) предполагает выворачивание мира наизнанку. Мена субъекта и объекта, низа и верха, раба и господина, вплоть до полной трансвестии, перестановки, пространства и времени как в сказках (см. Бахтин, Пропп, Лихачев и др.), ряжение, личины, как оналичивание, обнаружения, внутреннего и внешнего, формирование, разыгрывание антимира с изнаночным действием и антиповедением, рая и ада и т. д.

Эту инверсию элементов мира и правил поведения в нем, рассматривают как крайнее средство увеличения абсурдности жизни, которому соответствует и крайнее нервное напряжение, нуждающейся в немедленной, сиюминутной и предельной разрядке, вплоть до экстаза. Архаика первопродника и воспоминания о грехопадении в поздних религиях, и нешуточная экзальтация, выходения из себя в древних, производящая в прошлом разрушения почище черных археологов. Стихийное бедствие вторжения в бывшее со своими представлениями, в попытке прошлое подчинить и использовать. Праздность сама воспринимается как грехопадение, наследуя осколочные, абстрактные черты из прототремен. *Nomo feriens*. Феерия огненности. И своего рода инициация, посвящение в то, чего не было, потому что именно прошлое, история возраста не имеет.

Из реально наблюдаемых праздников ближе всего к реконструируемым первопродникам, кроме годовых ритуалов циклического времени, стоят церемонии, в которых в той или иной форме разыгрывается известный трехчастный комплекс «жизнь–смерть–рождение/новая жизнь» (от которого праздник праздности современности «предвкушение–выпивка–похмелье»). К таким праздникам принадлежат разнообразные праздники плодородия, связанные с мифологемой умирающего и воскрешающегося Бога или с женским божеством земли и вегетации, вроде богини матери, земли; иногда мужское и женское начала, выступающие особенно ярко в мистериальных вариантах, воплощенные в символы огня и воды (сравни

развертывание этой темы в иранском Ноорузе, хеттском празднике Пурулия, празднике типа Ивана Купалы, бога Терма и др. Да, собственно, и культ Христа прямехонько идет от культа Диониса, наследуя все атрибуты). Другой тип праздника, сохраняющего черты «первопродника», соотносится с памятью о «первоначальных временах» в том числе и о «временах мифических», где время персонифицировано, о времени творения, о юности, о демиурге, воплощенном в божество, в культового героя (праздность само героическое, без героя) или в тотемическое животное. У австралийских аборигенов многие черты первопродника обнаруживаются в церемониях вроде «интичиуму», воссоздающих те или иные события из «времени сновидений». Так называемый «основной миф», особенно в тех версиях, где наказанный сын бога превращается в зерна (ну как не вспомнить Р. Бернса с его стихотворением «Джон Ячменное Зерно»), семена без восхождения из которых вырастает растение, так же близко отражает особенности «первопродника». В нем в частности содержится объяснение происхождения стимулятора праздничного настроения — галлюциногенного или опьяняющего напитка, получаемого при соответствующей обработке и переработке плодов того растения. Которое как раз и является образом умершего божества (Дионис и не только). Вино, пиво, сома, кока и т. п., часто объясняют сюжет праздника и одновременно являются первопродником всего и существенным средством достижения искомого состояния (Элевсинские мистерии или Дионисии, хотя в последних экстаз достигался не обязательно посредством употребления вовнутрь). Так что праздность от праздника заимствует свои черты и создает свою и космологию и мифологию, обретая известный эротизм.

Собственно ведет праздность неудержимым отказом от первичной свободы, которая если верить классической философии, начиная со внятного определения Спинозы — «есть осознанная необходимость», а вся дальнейшая

действительная история — «действие в соответствии с ней». Так что становление свободы — только предыстория собственно подлинной человеческой истории. Праздность — своеобразный (поскольку руководствуется эгоцентричным своим образом своит человека, превращая в средство преодоления времени, которое тоже присваивает, расчленением его и тем умножением) эрзац свободы, локальной и спешащей к самозабвению. Образ искомой праздности не только самодовлеющий, но и самодовольный, ограничивает человека, оправдывая его уже достигнутое, давящее состояние. Минутное освобождение от долга долгом перед собой любимым. Жизнь не в себе, но для себя. Жизнь исключительная. Мертвая.

В сущности, существует три свободы, которые естественно одно и то же развитие последней, той самой «фурии исчезновения». (Гегель правда, как благонамеренный и законопослушный гражданин субъективный дух довел до логического снятия в объективном и заживо похоронил свободу в праве, но похоже не этого он хотел): свобода «от»; свобода для; свобода ради свободы, свобода самой свободы, где она уходит в основание, обретая в человеческой природе скромный статус всего лишь оттенка. На самом деле эти три (и больше свобод) всего-навсего ипостаси одной сущности — той свободы, которая не является, идею которой так боготворят почти в религиозном экстазе, но только для того, что бы предавать и разочаровываться, находя в этом особую утонченность и изыск. Это «что» свободы, история свободы в ее относительности, исключительности и временности. Свободы «до тех пор пока...»

Некоторый дуализм отражения отражения не особо смущает, когда свобода свободы, исчезая в основании и переосуществляя его, сохраняет остаточную свободу в свободном основании и пространстве свободного времени, которое по существу — вечность, а с другой стороны, свобода свободы превращается для каждого отдельного универсального, совлекшего твар-

ность личности, существа сугубо эстетическим способом, возведенным в принцип принципом единственно возможным делом. Праздность при этом может быть только в зазоре, в пустоте, возникающим единственным способом, когда идея вступает в антагонизм с идеалом. Это уничтожение порожденного упразднением времени. Оно может быть исчерпано полнотой бытия. И тогда даже праздность становится творящей, как, например, в случае беспричинного творчества, но время отрицается действием, когда действие не знает мотивации. Творение от нечего делать, а не потому что...

Свобода — не праздна, но она безразлична и к своему воплощению, и к действию, и к своему невоплощению, воображению в каждой конкретной жизни. Та самая легендарная «фурия исчезновения», о которой не упоминал только ленивый. Здесь она — само-собой-разумеющееся и не является вожаделенной целью, как нечто реализованное и достигнутое в-себе-и-для-себя.

Чувственно-практическое восприятие, ощущение и переживание свободы вполне может быть праздным, потому что «может быть» как потенциальная бесконечность тотально, то есть вполне действительно, как всеполнота.

Однако праздность, являясь, остается всегда «не при чем», особенно по отношению к свободе. В рамках необходимого и достаточного путают непринужденность, не необходимость и свободу, которая невозможна без предметно-практического действия. Но в предметно-практическом воплощении свобода тем более невозможна, поскольку всецело действительна.

Именно поэтому исповедуя культ идеи свободы ее боятся и избегают, так что свобода ради свободы изменяет себе, превращаясь в свободу от свободы, хотя в действительности это простой отказ от свободы, ради времени. Саморазвитие свободы, во-первых, не может без насилия и самоотречения, самопожертвования, а, во-вторых, восходит на крови, пусть даже это будет всего лишь метафизическая

кровь духа. Любой перерыв постепенности требует усилия, одоления сопротивления времени и для индивидуального сознания, для рассудка представляется катастрофой, которая таковой и является. Здесь нет выбора и никакая цель не оправдывает средства.

Но и в противном случае, надо это помнить, отказ от свободы чреват уже не метафизической кровью развития, а настоящей. Пока происходит развитие свободы в основание — это всего лишь болезнь роста, как у ребенка, сердце не поспевает, отстает от стремительного формирования. История нетерпелива. Чувства не справляются и потому приходится пользоваться «заменителями», когда предметность вызывает к тому, названия чему еще нет, да и органов восприятия тоже.

Однако когда развитие прервано или заменяется метафизикой существования, «искушением существования существованием» (Э. Чоран) возникает вопрос, как вообще возможна свобода в несвободном мире? (Три знаменитых вопроса, которому посвящены три «Критики» И. Канта: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?»). Так же спокойно и с ленцой ответить: да ничего я не хочу знать. Ничего и никому я не должен. И никакой надежды нет. Что бы там мне не доказывали, в этом угадывая своеобразный заменитель свободы и обретая в индивидуальности (нет, не «единственный и его собственность» Штирнера) и спонтанном перемещении (нет, не «фланер» В. Беньямина) самость единичности, без особенного и всеобщего некую независимость от всего, даже от влечения к себе (скорее падения в себя), в отсутствии воления бесконечным образом «во всех формах, степенях и потенциях». Траектория движения индивида совершенно случайна, как движение лейбницевской «монады». Его швыряет, а он пребывает в механической праздности неучастия. Безучастность как таковая, сохраняя некоторый дендизм псевдоэстетичности, поскольку даже при всем желании его просто не к чему прищандорить, но и нечего ему вме-

нить. Невменяемость праздности даже вызывает некоторую зависть, поскольку освобождена от совести. Совесть предполагает самосознание, то есть другого и отношения между ними. Здесь же индивид «оставлен самому себе», он «сам по себе», хотя так ему только кажется. С одной стороны он освобожден от аморального принципа морали общества господства и подчинения, начиная с отношения раба и господина (столь блистательно описанного Гегелем в «Феноменологии духа») и заканчивая современной апологией буржуазности, читай — праздности (пошлейшими маневрами Бодрийяра с его «Символическим обменом и смертью», Рансьером и его «Разделяя чувственное», да мало ли, — любимыми «критиками» современного западного мира с его «критикой циничного разума»). Единственное приемлемое — это избавление от тошнотворной христианской морали, требующей покорности, тогда да, праздность можно толковать как пассивное восстание против бессмысленного овеществления, превращения жизни в товар, своего рода бунт против работы, порабощающей человека и подмены его вещью, с дальнейшей фетишизацией последней. Есть рассказ у Джека Лондона «Отступник», когда человек ходит изо дня в день на фабрику в тупом однообразии, измождении, полуголодном существовании и вдруг однажды, словно проснувшись он проходит мимо своей работы и идет все дальше и дальше, садится в какой-то товарняк и отправляется кочевать и скитаться. Да, праздность может быть мечтой именно о скитаниях. Не о путешествиях. О бездомности. И своего рода неуместности, утопичности, в буквальном смысле. Праздность место, которого нет. Хотя может быть простой необитаемостью в своей явленности. Когда-то мою знакомую, жившую достаточно долго во Франции поразило, что клошары Парижа — это вполне интеллигентные люди, некоторые — профессора Сорбонны, вполне обеспеченные, но которые асоциальны, аутисты не из идеологических соображений. Это праздность уставших от жизни людей. Усталость

такая сильная, что нет сил не только жить дальше, но и умереть. При этом это отнюдь не опустившиеся люди. И здесь хотя они обеспечены за счет других, они просто существуют и все, так же как растения, деревья, воробьи. Несчастливая праздность. Существование вне и около.

По большому счету праздность всегда паразитична. Я понимаю, что все устали от сильных слов и порог слуха настолько понижен, что граничит с совершенной глухотой. Особенно осточертевает проповедь о ней как об одном из смертных грехов, где ее сознательно бичуют как лень, хотя это очень деятельная лень — метание ненасытного (да), алчущего (да) жаждущего духа, которому не к чему себя применить в мертвом пространстве прошлого времени — только что рыться в мусорниках истории.

Однако, что такое по сути праздность? Это присвоение общественно произведенного для развития всех свободного времени (поклон А. В. Босенко и его интерпретации теории ортодоксального К. Маркса) без всяких на то оснований и простая трата, перевод времени, упразднение его не по его образу и подобию, что-то вроде «забывания самоваром гвоздей» у Шкловского, с той только разницей, что здесь нет действия — простое переживание свободного времени, как обычного. Ожидание путается с надеждой. И спутавшись, они вступают в спор. Как утешительны бывают слова «Надежда умирает последней», как хочется дать себя уговорить, что это еще не все, что не мы ждем, а нас ждет некое будущее, где воздастся. И это будущее из заветных сказок «с молочными реками и кисельными берегами» (в сущности какая гадость, да и, о мечта, кисель и тот овсяный) примет без причины и независимо от грехопадения, только потому что мы есть. Но ведь это созерцание приближения смерти. Созерцание безвольное и умоляющее повременить. Выклянчивание отсрочки. Ну и предательство себя. Смерть не перетерпишь. Она терпеливее.

Свободное время воровано, хорошо, найдено, подобрано и превращается в пустое время,

тем самым умножая скорбь мира, потому что оно не есть хотя бы временем чистого созерцания, чувственного восприятия, и т. д. Оно без «и так далее». Время без исполнения. Его избыток, без-деянно начинает быть сильнейшим трупным ядом, разлагающим все вокруг.

Вместо времени развития свободное время становится временем деградации, распада не то, что личности — человеческой сущности вообще, да что там, самого явления в том числе и феномена праздности, и тем умножение времени без счета, которое разможенное.

Поэтому свободное время, выполняющее не свойственные ему функции (а все функции ему не свойственны, поскольку оно не функционально, так как не воспроизводит себя в одной и той же определенности, то есть в форме покоя, оно не имеет свойств и качеств, так как категории причинно следственного мира сняты, и оно само момент разрешения противоречия, как пока-еще-время, пока-еще-свободное, оно то, что «годит» сбываться, не потому что медлит или не может, а потому, что не разрешается в форму наличного бытия) становится придурью для праздности, придурью праздности, издающей над ним ради удовольствия. Вернее принципа удовольствия, как его понимает обыватель.

Мы одолеть не в силах скуки серой.

Нам голод сердца большей частью чужд.

И мы считаем праздную химерой

Все что превыше повседневных нужд

И. В. Гёте

Праздность — порождение заботы. Нужда — ее основание. Чувствительное бесчувствие озабоченного существования. «Не быть!» как «Да будет!» Пресно как присно. Желание, хоть чего-нибудь настоящего, пусть скуки, но подлинной, а главное постоянной. И не рост — чистое возрастание множественности, путем бесконечного дробления. *Schize* — не благородное расщепление — «шиза». Шизофилия/френия общества и собственно не одоление личности, личины, обращенной во вне внеш-

ними чувствами, а внутренний распад личности до индивидуности (как инвалидности с двусмысленной дословностью «бесценности», не имеющее цены»), что немедленно схватывается, охочим подбирать продукт распада, искусство, которое удивительно однообразно, потому что образа оно не имеет.

В частности, современное кино — этот унифицированный потребитель свободного времени, которому это нравится: «Как вам это понравится?» — говорит оно и демонстрирует очевидное. «В кино можно тот час же все увидеть. Стоит две секунды посмотреть видео, демонстрирующее Павла Лунгина, поедающего свой йогурт в Каннах, чтобы немедленно понять, что перед вами прохвост. Потом можно, конечно, подтвердить это доказательствами». Кино тавтологично. Оно — титанические усилия для заполнения лакуны свободного времени, синоним праздности. Гений тавтологии, создающий реальность праздности и его идеологию и пространство, и доказывающее с обезоруживающей очевидностью, что жизнь — это жизнь, и жизнь эта — манера поведения, не больше, даже в лучших своих образцах. Оно отымает воображение, заменяя его штампом. То не праздность, которая оригинальна. Праздность всецело банальна и оправдывается всем существом. «Oisevete», «inaction», «diseuvrement», *faineantis*, «inutilite»... — французский; «idleness», «inactive...» — английский, а есть еще сотни слов в других языках схватывающих явление праздности со всеми оттенками — лучшее, что можно было бы сделать просто выложить их подряд из всех древних, новых языков, сленгов, вулгаризмов и суперновейших, и оставить без разъяснения в самоочевидности, но это для менее праздных.

Литература делает это несколько не столь прямолинейно, но достаточно посмотреть на тексты какого-нибудь Уэльбека, как ясно видно скуку, намертво склеивающую расплывающийся было в честном гниении мир, который бальзамируется, и успешно, анти-идеей

оправдания и апологией единственно возможного существования, ссылкой на вечную природу не нами созданного (и не нам его менять, тем более, что «все дозволено», хотя не дозволено ничего). Кстати, именно это обстоятельство начисто лишает мир воображения. Искусство декларирует: «Не воображай! Мы все вообразим за тебя, вместо тебя, и сделаем это профессионально, будете премного довольны».

Любой несанкционированный полет фантазии воспринимается как полет валькирий, нечто угрожающее, опасное, демонической и мистическое. Тем более, что фантазия возникает ниоткуда, ни к чему и в никуда — без оснований. Вместо фантазии вранье и суррогатные однообразные заменители вроде «фэнтези». Одни вурдалаки и вампиры из жизни. Весь мир замещен заменителями, благо индивидуализм — порождение унификации, призванный противостоят универсализации и всеобщности, позволяет с успехом заменять ощущения (о чувствах речи нет) протезами действий, поступков и мышления. Подушный налог, взимаемый искусством временем жизни (что само по себе гнусно, поскольку жизнь становится разменной монетой), обесценивает собственно жизнь. Ведь собственно два часа в кино или за книгой — это время жизни. Все несказанно упрощается. Как утверждает Серж Даней: «В странах, вроде Франции, где индивидуализм, рынок и демократия окончательно победили, кино предстает прекрасным, отошедшим в прошлое воспоминанием, постепенно заменяемым разнообразными риториками (телевидением, рекламой: вместо изображений — сигналы, вместо вещей, предназначенных “зрению” — сообщения для чтения) — современными формами экономической власти».

Дело, собственно, не в кино (которое сильнейший галлюциноген и наркотик, кристаллизующий время, но время похищенное, вырванное с корнем, — о технической стороне и формировании зависимости и диктатуре кино столь пространно высказался Делез, кста-

ти, с точки зрения производителя совершенно не знающего предмет, впрочем такие же упреки можно услышать от умных музыкантов и в адрес Адорно — непосредственные творцы ничего не хотят знать, что противоречит их собственной самооценке, завышенной, конечно, когда собственно музыка в климаксе), а в тотальной амнезии, выполняющей, играющей роль самозабвения. Массовой шизофрении, требующей фронтальной лоботомии, и функцию электрического разряда или химпрепаратов успешно исполняет искусство, вышибая остатки духа из человечества, сдающего без боя и размахивающего не очень чистыми белыми платками потрепанных душ, чтобы сдаться, но кому? А некому. Ни до кого никому дела нет, и даже простого любопытства. Все явления, в том числе и праздность — это клиническая картина, но следствие, а не причина. Коматозное состояние задохнувшегося времени вызвано другим.

Распад универсума и принудительная свобода не быть, оставляет «себя» без «Я» в тотальном перерыве всяких связей, являющих пресловутый «ансамбль всех общественных отношений», что не заглушить никакими бравадами «философий праздного класса», унылой торжественностью обставляющего свою пиррову победу над необходимостью, потому что скучная необходимость быть гораздо страшнее небытия.

Эту тоску по сбыванию не загасить убогими «восстаниями элит», потому что нам показывают: утрата всеобщности и целостности или хотя бы их идеи неминуемо ведет к деградации, как единственному способу существования, причем без сущности. Это существование несущественно. Бессвязность как связь безразличная. Тяжесть как таковая. Истекшее время вечности. Покой без формы, для себя пребывающий. Для себя пребывание в единичном, полагающим движение в абсолютный покой, созерцающий себя слепыми глазами ничтожеством, последним ничтожеством полагающим себя субстанцией. В ней нет ни одного ни другого, того самого тоже нет, есть «одно и то же» оно част-

ное, частичное, но без частей. Не состоит и безотносительно, как чистое отсутствие. Не знает состояний. Она несчастна. Не-счастлива. Бесчестна и безучастна. Субстанция — ничтожество не знает уничтожения, поскольку она не охватывает себя, для этого необходимо внешность. Чистая сущность вещи, которая не имеет ни величины, ни пустоты, ни большего ни меньшего, ни максимума, ни минимума, ни близи, ни дали, поскольку оно всегда наличествующий центр всего без «эго». Акцентуация как таковая. Бесконечность точки. (поэтому праздность бессчетна). Беспросветность и кромешность.

Праздность незрима и сбываться не может. Она — не может быть, и есть только — зряшное отрицание, чистая негативность по отношению ко всякому что. Однако, если отрицание единичного ведет к всеобщему, хотя его и не может достичь вполне, но достигает всеобщности движения своим самоотрицанием, то есть ведь и обратноедвижение, отрицающее не только всеобщее, но и особенное, и даже единичное, как движение отрицающее движение, без снятия смерзающее, «мерзющееся» в чистое не-единичное, никакое, без внешнего и внутреннего, — вот это категорическое отрицание, не полагающее себя отрицанием есть упразднение уже свершившегося без продолжения. Туда ему и дорога?

Почему же праздность желанна даже для праздных? Призрак свободы? Той свободы, которая страшна своей жестокостью. Да, но смысла, которой в ожидании и заведомой напрасностью любого действия, потому что все в прошлом. В праздности есть константность, постоянство. Мертвая точка, и чем мертвее, тем постояннее в абсолютном движении вокруг, но по ту сторону утраченного предела. Около. Околица. Это предел как таковой. Предел всему. Праздность — только отблеск, нечто противостоящее свету и все превращающее в себя. Слепое бессилие. Бездеянность как бездыханность. Черная дыра.

В этой нетости — центр или, как говорили в старину, *misterium* праздности. Стремление

к абсолютному нулю, в бесконечном замыкании, свертывании всего вокруг бессмысленного убиения времени в каком-то злорадном самодовольствовании, которое не может быть никогда удовлетворено. Тайна этого бесконечного томления, в бесконечном «недо», недовершенности, несовершенстве, недоразвитости, в пребывании в ни-до-ни-после, но и не здесь. Грандиозная, вселенская озабоченность, когда «ни холодно ни жарко». Универсальная серость и посредственность без опосредствованного. Принципиальная ложь. Лжа. «Болезнь единичного». Тотальная несущественность. Обособленность бесконечного отсутствия. Тупая скотская покорность времени, которое как лишенность и есть праздность, освобожденная от свободы частной волей. Жизнь по видимости. Реальная лишь по видимости и тем не менее ощущаемая. Вождение без вождяемого. Попытка розни. Другого. Разделимости. Забвения. Это вождение абсолютной единичности без воли и свободы. Желание необходимости, против собственной воли, вернее вопреки безволию. Скука случайного существования. Жизнь смерти. Но не смертельность жизни.

Собственно феномен праздности в ее принципиальной невозможности. Это как попытка не думать. Нет, массовая безмозглость имеет место, но, находясь в сознании, не мыслить невозможно (хотя действительность доказывает обратное на каждом шагу). Праздность, как порожность, приемлет все. Ее пустота окрашивается во все оттенки. Она легко обменивается сущностями, хотя, как чистое явление, которое даже как явление не определено, — это сущность, которая не является и явление, совершенно не существенное, откуда совершенство и неуязвимость праздности. Как танец, который потерял первоначальное сакральное значение, праздность обменивается несуществующими сущностями со всем, к чему прикоснется, но, конечно, расплачиваясь временем жизни. Это тяжесть в невесомости. Неощутимость как таковая. В этом рафинированном виде «это

вседозволенность». Что бы ни было сказано о праздности — это будет всегда точно. Праздность как нетость, даже апофатическим не определена, потому что она всегда «это-еще-не-все». Но и свести ее к отрицанию всего невозможно. Грандиозность и нищета праздности неопишима. Можно бесконечно рассуждать о ее роли. Она может быть глотком свободы. А может быть порабощением. Большой совестью и абсолютным отрицанием и совести. Праздность бывает из чувства долга и по любви. От ненависти к этому миру, и ради безразличия. Она апатична и безвидна. И ни один из оттенков праздности не принадлежит, как шелуха, спадая с нее в одностороннем порядке. Состояние праздности удивительно. Она беззаботна, но озабочена: чем же загатить эту грозную пустоту и как смириться с напрасностью жизни. Это проявление фантастической воли и немислимое безволие. В конце концов, можно договориться до того, что все, что составляет собственно человеческое, — порождение праздности, и это будет приемлемо, так как нельзя привести ни одного контраргумента. Лень и скука двигатели развития? Слышали и такое. Доля истины в этом есть. Если бы не живой труд, то не было бы свободного времени, отчужденного, обобщественного в некую претендующую на самостоятельность область, в которой рождается идея и становится предметом самой себя. Спохватываясь, она выращивает чувства, от которых отказалась ради чистого разума, и эти вновь обретенные чувства необъяснимы необходимостью.

Праздность никакая. Она ненормальна, потому что не нормирована. Она не знает развития, узловых линий мер. Она сама прерыв постепенности. Вдруг и ниоткуда. Она может быть банальной и утонченной, жестокой и поэтичной. Неясная игра стихийность и стихии, не сдержанные ни формой «я», ни намерениями, ни смутными желаниями. В ней можно усмотреть что угодно. По сути, это оправдание человеческого существования, минуя логику прагматического мира. Тот покой, в котором,

в минуту крайнего отчаяния, просят оставить. Передышка. «Вздых угнетенной твари», но в то же время игра духа, когда хочется заблудиться и идти неведомо куда. Это религия свободы с творимым немедленно ритуалом. Это «Остановись мгновенье», а останавливаться нечему. Когда время медлит время, а сам ты исчезающий момент, границы личности размыты, убогая форма «Я» нелепа, и ты отличен от окружающих тебя вещей, порядков, норм, отношений безотносительно. Оно не имеет никакого отношения к судьбе и всецело бесхарактерно. Праздность — универсальный заменитель счастья в пришибленном ущербном мире. Невозможность и невозвращение. Утрата вины и хоть и кажущаяся, мерещащаяся мерцающая, но настоящая жизнь, а не право на жизнь. Здесь нет места морали, а только нор. Каприз, но каприз избавления, даже от жизни. Видимость человеческого. Безусловная свобода действий несвободного человека, для которого свобода — вина за несодержание. Она — неисполненная, нарушенная клятва. Потому как «летучий голландец», призрак, обреченный скитаться, пока не выполнит обещание. Праздность не создает мир из ничего, и даже из хаоса, она сама есть идеал возрожденного хаоса, по крайней мере, его представляет, руководствуясь лозунгом: «Да пропади все пропадом!» и полным сознанием, что все равно все напрасно. Все равно умирать, и рано или поздно все будет уничтожено, что вызывает желание приблизить это собственным действием. Так прекращают игру, смешивая фигуры на доске одним жестом. Это пространство внезапно открывшееся, неожиданное, где все — есть дело случая. Видение. Видимость красоты. Но не действительной или воображаемой, а видимой представлением. Напрасная жертва времени. То есть и человек и время жертвуют собой друг для друга, жертвуют друг другом. Обреченная невозможность забыть и заблудиться, но тем не менее забвение как таковое, забавное, забывное. Причинение красоты. То есть попытка причинить красоту ущербному миру, что означает

в сущности примирение со смертью. Тщета и пагуба. Здесь воображение — смысл которого в исчезновении, а соображение отсутствует напрочь. Сама праздность — неповторима, хотя всецело является благодаря бесконечному воспроизводству.

Не надо тешить себя иллюзией, что праздность освобождает. Она полное и совершенное воплощение присвоения в его сущности, попытка присвоить не только бытие, но и ничто. Тотальное порабощение. Желание приблизить пустоту, сделав ее человеческой и уникальной, сделать живой и традиционной.

Праздность — апология пустоты, и индугенция на ее дальнейшую судьбу. Это надделение судьбой, и единственностью, ритуалом которой и воспроизводит себя праздность как прекрасное. Красота здесь отбрасывается в немислимую даль. Ей предписывают недоступность. Праздность имитирует алогичность и это единственный случай, когда нечто подражает себе, создавая культ себя, и в основании лежит безобразное.

При всей загадочности и прозрачными намеками на исключительность и элитарность, праздность является воплощением плебейского идеала. Это шаяние по баракхолке, без цели, некая идеальная базарность. Перебирание времени. Торговля с самим собой.

Но никого не удивит, если внезапно все это поменяется от одного порыва ветра истории и праздность обретет совершенно другое значение, обнаружив спонтанную самоорганизацию и волю к прекрасному. Но это не воплощение, а дисфункция праздности, которая не знает превращения, а только проявления и имитацию, в том числе и себя. Жажда определенности неопределенности. Страсть к разрешению. Безумие перепроизводства нищеты. Свобода воли без воли и свободы. Праздность — аномалия, когда развитие подменяется умножением, самодроблением, а утрата человека уже абсолютна. Все человеческие качества, рождает угрожающую жизнеспособность, где прекрасно обхо-

дятся и без него. Праздность — покинутость, абсолютная субстанция индивида, чья абсолютность порождена тем, что все оказывается внешним и всегда имеет видимость подмены, она предрешена и не имеет возможности выхода за пределы, кроме собственного уничтожения в бессмысленном действии, которое не может быть. Пустота — отсутствие и как таковая временность, фибриллирующая, не происходящая, впадающая в инертность и инерцию бесчеловечности. Но пустота — переполнена с избытком отработанным совершенно ощутимым экономическим мертвым временем. Написано столько книг, трактатов, которые никогда не могут быть прочитаны, создано столько самодовлеющих вещей, которые не могут быть используемы, изобретено столько механизмов, которые не могут быть использованы, поскольку устаревают еще на стадии замысла или бессмысленны по замыслу, как устройство для погрузки запяски в багажник личного автомобиля, или то же усовершенствование офисных программ, когда проще писать гусиным пером, чем тратить время на овладения всеми этими ненужными возможностями. «Написано и распространено столько знаков и сообщений, что они никогда не будут прочитаны. К счастью для нас! Ибо даже с той малой частью, которую мы абсорбируем, с нами происходит нечто, подобное казни на электрическом стуле», — наивно пишет Бодрийяр, сваливая все на уничтоженную потребительную стоимость путем перепроизводства. «Этой необычайной бесполезности присуща некая особая тошнота. Тошнота, испытываемая миром, который размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться (Сартру такое не снилось). Все мемуары. Все архивы, вся документация не в состоянии разродиться одной единственной идеей; все эти планы, программы, решения не могут разрешиться каким-либо событием; все изощренное оружие не может разрешиться войной!». И дальше: «Это насыщение превосходит экссесс, о котором говорит Батай и который все общественные формации всегда умели

разрушать в результате бесполезных чрезмерных трат. У нас нет возможности истратить все накопленное, и нам не остается ничего, кроме медленной или быстрой декомпенсации, так как каждый фактор ускорения, играя роль фактора инертности, приближается нас к точке апогея инертности. И ощущение катастрофы есть предчувствие достижения этой точки».

Это — распад самой стоимости, самой экономики, в ее праздном состоянии недействительности и недейственности, упразднение экономических законов. Не просто стагнация человеческой истории, но энтропия жизни вообще. По справедливому выводу того же Бодрийяра, смакующего эту тухлятину и с наслаждением вдыхающего вонь разложения, политэкономия вырождается в не чистую по определению спекуляцию, поскольку не имеет ни оснований, ни возможности быть, коль скоро становится «целесообразным без целей». Только французский спекулянт забывает, что это возможно лишь в силу тотального грабежа и эксплуатации.

Трупным ядом заражается все. И клиническая картина (деменция — нарастающие симптомы приобретенного слабоумия, наблюдаемые повсеместно, становятся нормой) хотя бы случайной праздности вступает фатальным предчувствием пошлого финала, который ждут, на который надеются. И который торопят в нетерпении, алкая его с некоторым восторгом, как хоть какое-то, но событие — наркотик праздности, стимулирующий и подстегивающий истощенное сознание, изможденную интеллектуальность, которой некуда деться, в помойке, где человеку отведена роль искусственно выведенного вируса. Смерть больше ничего не значит.

Праздность правдиво жлет себе, себя не зная и не воспринимая. Беззаботно озабочено. Воодушевление на пустом месте лишено одухотворения. Праздность не знает особенного, она типично атипична, «анэстетична» (Бадью), но без типологии не может. Ей просто не от

чего остраниться. Она — чувство странности. Странность и странствие как такие.

Являясь фикцией тотальности, праздность всегда — частность. Никакой тайны и загадки. Все — видимость, наглядность, но ввиду отсутствия опыта она — убежище тоски и ее неадекватность. Постоянство праздности в том, что она всегда — «не то что». Здесь ничего не происходит. Мелкая дрожь, утраченного духа, для которого выхода нет и потому он перестает быть в имитации жизнедеятельности, вернее, ее имманентности. Праздность — жалость к ничтожеству и попытка его возвышенного действия. Но она не знает сострадания. Это попытка унижить возвышенное жалостью к низменному. Неизменное ускользание от всего — и от мира и от себя.

Здесь чувство бегства настолько имманентно, что даже не оформляется в чувство, культивируя свою панику и маскируя его деланным безразличием и равнодушием. В деградации есть некий мотив торжества и злорадности. Детское «Вот умру. Тогда Вы все пожалеете». Вчувствование без чувств. Склубление. Мелкий домашний хаос и муть. Антимир. Удержанный в мгновении. И то, что это пошло и банально, и писать об этом невозможно, но пишется, и читается, Показывает, что феномен праздности есть, а вот феноменология отсутствует. Логос ампутирован напрочь. Праздность сама собой и сама по себе. Ее привлекательность не от остроумия мира, а от тупости и безнадежности, хотя и может служить электрошокером, возвращающим действительности некое подобие сознания, приводящим реальность в чувство. Правда — это чувство ужаса.

Праздность целиком и полностью умещается между «не хочу и не буду» и «хочу и буду». Пробрасывание от «хочу, но не буду» до «не хочу, но буду назло» «и не хочется. Но жалко упускать такую возможность» (как у персонажа одного из рассказов О. Генри), *Arbait macht Frey*. Свободное дело через силу. Преодоление себя посредством силы, направленной в нику-

да. Праздность — пространство отвоеванное, или свалившееся случайно, на котором только и можно уворачиваться от судьбы, потому что фатум и рок слепы и не имеют власти, а власть случая не считается. Только здесь можно быть внеположенным, не предзаданным, не последовательным в тупой логике причин, но одновременно во множественности, не связанной единством, вернее сфокусированным, и весь фокус в том, что фокус — ты сам, единственно собой. Все сходится к тебе и из тебя исходит в игре всех духовных и физических сил, которыми ты (которые тобой) имеешь на данное время в данном времени. И тут как никогда зловеще звучит любимое изречение Ю. Тынянова о том, что «пасквиль — это высокий жанр». Праздность — пародия на свободу. Клевета. Однако здесь любому «любезному соседушке можно поставить запятую».

Если отбросить классовые, экономические, мифологические, религиозные и прочие обыденные исторические напластования, налипшие на понятие праздности, отринуть обыкновенный страх перед неведомым и рассматривать праздность как момент воплощенной реализации субъективности и, наконец, (свобода наконец, в ее окончательном виде эроса исчезновения, переставание быть собой, конец свободы) просто страх перед неведомым, то она в чистом виде предстает как «бытие-возможность» начала с «чистого ничто». Ничто как предстоящее пространство. Интеллектуальное созерцание просто так.

Праздность — репетиция преждевременной свободы ради свободы. Пространство есть, а действия свободы еще нет. Свобода не только не познана, какая там необходимость, а вообще неузнаваемая. Здесь нечего делать. Нет ни образа, ни цели, ни самого действия. Любое действие не обусловлено и не предзадано. Мучительное воспоминание о чем, это всякое действие превращает в эстетический жест. Не имеющий ни значения, ни тем более цели и оставленное без последствий. Здесь и всегда, без «прежде»

и потом», где свобода, образ, цель, способ дела и воздействие собственной свободы (она, как говорилось, не познана, не узнана и воспринимается принуждением, свобода не действует) мало того, что не различаются, но и не стремятся к единству, не осознавая и не желая знать, что все они лишь различные проявления одного и того же. Атрибуты? Нет, модусы и фигуры одной субстанции.

Праздность анархична, а не иерархична. Она — проверка на шивость. Зазор. Несовпадение. Сдвиг. Стихийное бедствие. Катастрофа, но никак не место встречи, когда праздность не в силах отделаться от предметности и слишком деловая, светливая.

Действие сменяется суетой сует и всяческой суетой, когда пытаются обломками вещей, отношений, мелочевкой и просто бытовым мусором истории и культуры загатить зияние, распахнутость, бездну, которой не должно быть, но она есть.

Это своего рода ответ на вопрос, «что будет делать человечество (а до него дела тоже нет), когда решит задачи своей предыстории?» Все оказывается незначимым, даже праздность. Это простор, где человек решает себя, расставаясь с историей, пытаясь порешить все опутывающее, сковывавшее. Возможность остановить мгновение, чтобы отдышаться и оглянуться, не потому что прекрасно и не для того, чтобы определиться в мире, а в себетожественности избавиться от всяких пределов, самозабиться вне мира и условностей. Стать безусловным. Что недоказуемо.

Грандиозность этого действия тем очевиднее в этом созерцании, действии, что на фоне кипящей вселенной, которой человек вровень, и он в своей малости участник этого бесконечного и вечного движения сам мгновенен и исчезающая величина. Праздность никакая. Она только усиливает до бесконечности то, что в ее пространство привносится. И подлость и любовь, и ненависть и воля, и трусость, и предательство и творчество из ничего, и все сущностные силы.

Все возможно. Праздность — способ расстаться и с сущностью и существованием, не имея ни малейшего основания и тем более оправдания. Она не имеет человеческих измерений. Это не попытка самоидентификации. В любом случае это попытка жить иначе, приговорив ли этот мир или себя, в усталости от жизни или в бегстве от себя, в стремлении к себе ли. Праздность — это «или» и желание всего без остатка, но когда желания нет, а есть только инерция действия не имеющего направления. Томление неопределенности.

Здесь поверяются и оказываются бессмысленными все перводвигатели человеческой истории. До основания разрушается тезис, что удовлетворенный человек сможет действовать от нечего делать и когда он наконец пресытится, то поставит сугубо человеческие цели, по природе стремясь к от сытости к возвышенному и прекрасному, начнет творить действительную историю по законам красоты.

У Стругацких в знаменитой повести «Понедельник начинается в субботу» есть персонаж — профессор Выбегалло, который пытается селекционно вывести (высиживать в гнезде кукушки, над которым пролетая) модель человека, удовлетворенного желудочно, дабы удовлетворившись, он начал духовно развиваться. И кормит опытный экземпляр (как две капли похожего на него) тоннами селедочных головок, пока кадавр не лопається, так и не осчастливив «людство» откровениями духа.

Здесь сомнительным становится тезис, что «прежде, чем... человек должен есть пить одеваться». В оставленном, освобожденном пространстве человек по-прежнему будет воспроизводить «по-прежнему», копируя и редуцируя, клонируя те общественные отношения, которые его порождают в форме покоя.

В Праздности каждый может попробовать на себе эффект робинзонады и убедиться слабющим сознанием, что в самости, индивидуальности мозг затухает и так называемое внутреннее беспокойство больше не беспокоит. Преждев-

ременная свобода об этом. Праздность зазор, люфт между пространством развития и действием, и она же стремление к бесконечно малому. К нулю, который, тем не менее, бездной отделяет от начала, если превращение не состоится. Заукливание, свертывание пространства.

Праздность антиномична (и анонимна). Она всецело уместается в бесконечности, стиснутой антиномиями, но без тезиса и антитезиса, поскольку она праздность ради праздности, только ради себя. Она — обретение-утрата реальности. И действительности. Утрата пространства и времени, вечности и бесконечности, утрата всего.

Восторженное пушкинское «Цветы. Любовь. Деревья. Праздность. Поля. // Я предан вам душой...» сменяется его осторожным: «Они вели жизнь праздную, но не беспутную...», когда праздность используется как катализатор других, отнюдь не праздных процессов, которые празднословием и праздноболтливостью не заменить.

Уже оттого стоит предаваться праздности, чтобы избежать липкого, елейного и подозрительно настойчиво ее травли как смертного греха в страданиях церковников и прочих рабов божьих: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и праздности не даждь ми» (Молитва Ефрема Сирина). Значит, есть дух праздности и уже поэтому стоит ей предаваться.

А после аргументов вроде: «Праздность, или удаление от трудов, — пишет Святой Тихон, — есть сама собой грех, ибо противна заповеди Божией, которая велит паки в поте лица нашего ести хлеб наш» (Быт. 3: 19). Следовательно, «в празности живущие и чужими трудами питающаяся дотоле грешить не перестанет, доколе в благословенные труды не отдадут себя». После слов божественных пребывающего в празности бога, хочется сразу и согрешить, и в празность, яко господь немедленно впасть, уподобившись ему.

А уж начитавшись всевозможных сентен-

ций: «Праздность — мать скуки» (Стендаль) лучше бы написал «П. — твоя мать», или автора бессмертного «Пуля дура — штык молодец»: «Праздность есть мать скуки и многих пороков». «Я смотрю на праздность как на своего рода самоубийство» и т. д., начинаешь подозревать авторов в трусости. И хочется праздностью испытать себя, совершив разведку в свободу, экспедицию в праздность.

Конечно праздность — не большая совесть, а преодоленная в самодовольстве. Скотодовольство. И она может быть проповедью самообольщения, равно как и анафема ей. Но не в этом ее природа. Она только усиливает сугубо количественно то, что есть, освобождая от помех и избавляя от долга. Не важно какого.

Праздность не решительна. Она жертвенна. Столько же сходства, как между жизнью и животом. Она, как говорилось, вообще между. Между жизнью и смертью, пространством и временем, но они не являются ее пределами. Касательства к ней не имеют. Она состояние без атрибутов и пределов. Бескачественность: все качества ее прилепляются извне. Прививаются. Прищипываются. Праздность внешняя самой себе, она всегда видится со стороны. Внутреннего мира не имеет только изнурительность. Блуд. Она питает блудливую страсть. А почему бы и нет. Она позволяет все.

«Народ от празности завел привычку трескать», — писал Гоголь. Но ведь и Моцарт, и по большому счету музыка, поэзия, философия, искусство, все человеческое — с точки зрения рассудка от празности, и даже чистое созерцание, равно как и не менее чистое свободное действие в свободном времени.

Разрешение неразрешимого и неразрешаемого. Тебе предоставляется, вернее, попадается возможность. Делай что хочешь, а что ты на самом деле хочешь? Все возможности на данное время другим недоступны, тебе разрешено, вопрос только в твоей отваге и мужестве быть. Здесь сбываются как у А. Тарковского в «Сталкере» все желания, даже те, о которых ты не дога-

дываєшься. «Счастье для всех?» И для тех, кто счастлив убивать? Насиловать? Для Садистов? Нужен поступок, но ты не знаешь, что именно ты желаешь.

Праздность — бессмыслица мира, отсутствие смысла, который ты должен создать из ничего сам, либо тебя сожрет пустопорожнее время. Есть, конечно, сладострастный соблазн, надругаться над этим временем и упиваться бессмыслием. Праздность — возможность чистого творения из ничего, но ты не знаешь, какие демонические силы вызовешь своим «да будет!», а у тебя отнято праздностью даже любопытство, и ты наделен только напрасностью действия, потому что все равно умирать. Поэтому праздность — коварная штука — мелкие критерии обыденного озабоченного мира превращаются в последние причины и пределы.

Праздность находится в контрадикции с Заботой. Она пытается озаботиться в беззаботности, а забота отнюдь не пытается упраздниться. Культ заботы и добывания жизни в поте лица своего (и чужого) волновали многих от античности, неоплатоников, отцов церкви, до Гете, Хайдеггера, Эрнста Блоха, пытавшихся лишить ее прав, но тщетно, хотя сама Праздность заботу подозревает, как ближайший ориентир, по которому она определяет свою инаковость. Разведающая ирония праздности, пытаясь избавиться от этого проклятия любым действием, уничтожает себя. Она пытается предстать инобытием, но оказывается «тем же самым», пытающего безнадёжностью. Надежды нет и в помине, поскольку здесь сплошная память о том, чего не было и быть не могло, поэтому смысл в забвении и в беспамятстве, тупо сочиняющей мир в маразматических мемуарах о небывавшем.

Достигнутое равнодушие покоя, выводимого из себя — вытяжка смерти. Пародия свободы — ирония праздности. И лютая злоба на себя, смешанная с липкой лестью себе, пополам с лютой ненавистью у людей мыслящих, если безделье вынужденное, когда не облегчение, не передышка (как у Марио Бенедетти) — нет

легкости и природы, только нарастающая преждевременная старость, которую не переждешь.

Праздность — символ небытия. Ты есть, но тебя уже нет. Ты не у дел. Болтание, шляние, когда болтанка укачивает до тошноты. «Пьяный корабль» А. Рембо — «Le Bateau ivre». «Comme ja descendais des Fleuves impossibles...». Праздность — страсть потребителей, исключаяющих все, связанное с производством и творчеством.

Снобизм праздности, возведенный в культ. «В любопытстве Пруста присутствовал детективный оттенок. Верхушку буржуазии он воспринимал как клан преступников, как банду заговорщиков, с которыми никакая другая не могла идти в сравнение, — это была камора потребителей. Она исключает из своего мира все, что участвует в производстве, требует, по меньшей мере, чтобы это участие грациозно и стыдливо скрывалось за жестом, как это демонстрируют законченные профессионалы потребления. Анализ Прустом снобизма, являющийся более важным, чем его апофеоз искусства, представляет собой вершину в его критике общества, потому что позиция сноба является ничем иным, как последовательным, организованным, закаленным рассмотрением бытия с химически чистой точки зрения потребителя. И потому, что из этой феерии должно быть изгнано даже самое примитивное воспоминание о производительных силах природы, поэтому для него в самой любви извращенные связи были более приемлемы, чем нормальные. Но чистый потребитель является и чистым эксплуататором». Так что праздность — выжимка из чистого потребления.

Праздность — насилие, причем тотальное над природой человека. Свобода, подмененная идеей безыдейности. Идея свободы — извращение возвращенной формы. Попытка самопогружения, где наименее интересное — ты сам. Самозабвение утраты, когда ты провожаешь себя в первый и последний путь. Ты тонешь, на мели и заменяешь смерть глубокой философией на мелком месте.

Уныние обеспеченного человека. Депрессия. Скука. Распухание. «Вымученное отупление» — это последняя из двух тысячелетних метафор меланхолии, раскавыченная власть времени. Манекены. Трупы. Превращение без превращения. Кафка, Кестнер, Георг Гайм... Все уже было. Праздность — концентрированное выражение проституции, но поскольку она всеобщая, то она образ жизни.

Праздность не пассивна — она агрессивна, но так, как агрессивен вакуум. Агрессивна, но бездейственна. Она не знает свободного действия, только произвольный жест потребления и жест этот неприличен.

Праздность основывается не на свободном времени и его сознательном превращении (хотя это тоже ущербное действие), а на пространстве освобожденным путем разложения. Нечто сгнило и пространство освободилось. Разложения чего бы то ни было от класса и общества до разложения природы — разницы нет. Когда нечто разлагается — оно расплазается, уступая место, освобождая от своего присутствия, когда нечему больше разлагаться, если уже идет речь об отношении общества, то пустота тут же заполняется праздностью как плесенью. Иногда это дает жизнеспособные всходы. Так человек. Ополумевший от жажды может напиться из мутной лужи в почти бессознательном состоянии. Из мутной зеленой лужи искусства, литературы, философии, кишачей простейшими. Это называется творчеством. Он будет пить самозабвенно, не думая о последствиях. Праздность — это мимикрия. Искусство и философия из серьезного дела, за которое отдавали жизни — предметы отдыха и развлечения. Баловство. Развлечения. В разные стороны, не потому что влечет, чтобы создать разрыв, свободный от другого. Прободение. Праздность это не когда хочется все, а когда не хочется ничего. Само свободное действие становится возможным, когда экономия времени и его дефицит уступают, когда времени не жалеют и усилий соответственно тоже. Утрата памяти, ампутация ее, чтобы не помнить о смерти.

Поэтому праздность, как это ни парадоксально, — вополощение/уплощение абсолютной несвободы. Она вся во власти произвола. Жертва. Не оказывающая сопротивление.

Праздность — расслаблена (причем в пошлом смысле — «расслабуха»). Отсутствие силы и потому является местом, где сила (сила чувства, сила воли, сила духа...) проявляется в чистом виде без явления: Способность явить действие, «начать начало». Перейти усилием воли к некоей определенности из абсолютной бессильной данности «вот», воля к действию «может быть». Возможность совершить невозможное. Упразднить праздность праздностью или чем угодно, что не она, то есть все — в этом ее несомненность. Несусветность чистой праздности без отношения.

Она, как говорилось, усиливает все: и творческий порыв и лень, интерес и оголтелую скуку остроумие и тупость, зоркость и слепоту... Усиливает и уравнивает, заставляя их нейтрализовать друг друга. В себе она — нудность в дистиллированном, овещественном виде. Это место зачастую отхожее, не надо пугаться — смерть тоже самое место, где все смешивается беспричинно со всем, в некоем алхимическом тигле, на авось. Ее безвкусие позволяет распущенность ощущать мгновением непреходящим (и не приходящим). Так что праздность может быть и экстремальной, но больше эксцентричной (по крайней мере, себе казаться такой). Страсть ради страсти и бесстрастность. Маниакальное желание шока при безутешном остром холодном сознании, что уже ничего шокировать не может. Типично мелкобуржуазная мечта: «удивите меня!» Мольба о чуде местечковой торговли, (кстати, совпадающая с потугами современного искусства это чудо сотворить на глазах у изумленной публики).

Любое действие праздность обезличивает. Так что каждый видит то, что хочет. Автоматически. Потому что все сведено к автоматизму (это замечали не только знаменитые экономисты, им положено, но и поэты, например тот же

Поплавський (не вдрагивайте, другий із городу Парижу) Борис (см. «Автоматическіє стихи» оного).

То єсть, еси об автоматизме, с розвитием разделения труда и репродуктивной деятельности мертвого труда, она возводит мертвящую сторону определения в его механической однозначности в абсолюте, анализируя, расщепляя единое движение до однозначности элементарного. В сущности, это обратный развитию процесс превращения развоплощения универсальных человеческих чувств в рефлекторный механизм, лишая последнего: ощущения и реакции/раздражителя. Полное отупение и бесчувствие. Не(чистая) порнография. Это разложение абстрактного созерцания. И разложение собственно абстракции, хотя куда уж дальше (отсюда такая страсть к коллажированию, комбинаторике и тасованию вещей и всего прочего) Возбуждение, властвующее в праздности — азарт игрока, построенный (именно построенный по алгоритмам и схемам заведомо данным извне, в виде инструкций, правил, запретов, приемов. Здесь нет не то что биомеханики — простое включение (выключение) сконструированное на искусственной неизвестности, потому что именно эта «неизвестность» однозначна. Она константа. Каждое следующее действие не связано с предыдущим и лишено содержания, оно действительно, но не действительно. Одни аффекты. То есть в праздности может пребывать только «человек толпы», — «ветеран броуновского движения», в несуммируемой сумме одиночек.

Праздность не открывает, она дрессирует, оставаясь незавершенной, и только поэтому мистична дурной мистикой бега на месте и все равно страдает гиподинамией.

Праздность — рабское подражание, но самой себе. Созерцание не насыщает, оно ничего не видит как зерцание, поскольку другого не дано и потому в и в ней доступность любого действия превращается в отказ от любого маломальского. Восхищение, которое готово проявиться, но не

может обнаружить того, чем следует восхищаться и отступает в себя, как единственно достоверное, однако и тут не застаёт себя, наступающее пустотой. Поэтому праздность, хотя и принято хулить, но относится к ней с почтением. На всякий случай. Так что праздность недалеко от истерики. Она вообще истерична и тяготеет к культуре прошлого, прошлое изнывая.

Праздность все-(и всеми)приемлема — и любая, без любви, *correspondans*. Это тот случай, когда стихи, музыка и мысли лепятся, вымучиваются из неудач. Сплин, меланхолия, тоска — идеология мгновения, и в силу этого по прошествии могут быть воспоминанием, возрождаемым без конца «гнус мгновений» (Беньямин, неистребимый, как запах, который узнаваем). Жажда небытия (Бодлер) позволяет спокойно переносить время еще и в том смысле, что перенос (мета-фора), он же минус, отрицание времени, подмена его и похищение есть способ его временного преодоления. То событие рокировки в длинную сторону праздности и свободы — тот случай, когда все можно не объяснять, а оправдывать неудачей. Праздность — наудачу, наугад, на «а вдруг». Она освобождает от опыта. В этом несомненный праздности удобство, комфорт, весь смысл которого в его нарушении. В прекращении устроения во времени и приспособленности. Поэтому праздность — это судорога, сводящая идеал в искаженную гримасу. Невроз времени и — тем избегание его монотонности.

Распыление, расפורение. Пространство кабинки для переодевания. (Просторы деревенского клозета.) Только ирония, цинизм (праздность не остроумна) и ничего больше. (Хотя, по правде, этот яд, эта кислота, разъедающая все, как раз и дезинтегрирует, дезинфицирует пространство, уничтожая само гниение, выжигая дотла, но ведь и все остальное тоже.) Пустое место, пустырь, который может быть заполнен чем угодно. По преимуществу хламом, иногда игрой, и почти никогда страстью, любовью и свободой. Праздность и сама «почти никогда».

Она мгновенно старается потерять свою пустоту, а вместе с ней и чистоту.

Ее никаковость, очищенная от качества и количества невообразима, не потому, что невозможно вообразить, а так, как нет ни воображения ни возможности. Она действительно не терпит зараженного обломками ассоциаций и мотлохом старых образов мусора, однако, приходится терпеть, как и постоянно нарастающую светящуюся плесень чужих мыслей и споры мертворожденных ощущений на трупах чувств, сваливающихся падшими неведомо откуда.

Праздность в чистом виде оказывается/случается серией точечных и точных направленных взрывов, ослепительных вспышек. Это, когда убогую, сдавленную оставленностью всех отношений оболочку разносит на элементарные частицы, а они оставляют треки. Личность идет вразнос, как ядерный реактор и разносит в разные стороны, создавая если не стороны, то разность-в-себе. Здесь праздный посторонен. Он одновременен, а не последователен. Праздность тяготеет к элементарности. Событие здесь и сейчас, репродуктивное воспроизведение обстоятельств, которые этой вспышкой освещаются (Праздник — свято(е?)татство? предполагается.) Обстоятельства обнаруживаются. На них наталкиваются. Здесь время не имеет ни выхода, ни исхода и спрессовано в точку бытия сейчас. Время немедленно, без промедления, но медлит все. Оно напоминает серию тире, которые в фильмах о путешествиях начертывают траекторию и путь. Линия свертывается в точку пребывания. Человек оказывается в замкнутом пространстве времени, которое герметично.

Даже если, в случае когда это деятельность в искусстве или науке, в том числе и особенно в философских штудиях, исследователь что-то и находит, наталкивается, то понимать обречен он один. В современности праздности нет своих, нет других — только чужие. В праздности, при кажущейся, а еще больше желаемой свободе выбора иного не дано. Это не свобода — избав-

ление, из-бывание, избыточность, с-бывание несбыточного, является бытом праздности. Все это, казалось бы, дурной психологизм, самоощущение праздности (ее самоощущением), если бы не носило столь явственные черты — неявленного. (Собственно феноменологии нет, только феномен, да и то скорее не-праздности.)

Но на самом деле праздность порождена тотальным одиночеством, где все — монады и общаются только на внешних, запаздывающих удаленных отношениях. (Хоть пиши новую монадологию, благо Лейбниц позволил же себе «Новые опыты о человеческом разумении», чем создал прецедент.) Настоящая праздность нелюбопытна, бесцельна. Она утрата, перевод его и тем сведение на нет. Поэтому праздность — это «нет, но...»

Даже мысль о том, что Интернет стал возможен, когда одинаковость, единичность, эксклюзивность заменила всеобщность, и разделение умственного труда, да и собственно мышления достигло такой крайности, что скукожилось до двоичной системы, и дальше до простой информации, постановки (подстановки и пост-постановки) в известность, до механики, только тогда этим стало возможно оперировать, этим стало возможно оперировать как скальпелем, рассекая, кромсая и расчлняя.

Многообразие не функционально, унифицирование же можно воспроизвести в одномерной определенности, отштамповать, скопировать, а еще лучше заменить готовым.

Даже если есть «спецы», которые по инерции продолжают создавать шедевры в поэзи, философии, литературе, музыке, живописи, скульптуре, то они обречены, потому что не просто востребуются, но и видится только элементарным (видится/зрится) элементарным, прикладывающим свои шаблоны, калибрующие бессознательное и дозирующее созерцание. Думаю, каждый ощущал это на себе, взирая на уровень. Вся эта масса сползает к примитиву. Так кино утонуло в ничтожестве своих произведений (Делез). И не вина Эйзенштейна и Ганса,

что они ожидали великого изменения способа мышления, оно стало подменой мышления вообще. Колоссальные усилия интеллектуальные, физические, чувственные, невероятные затраты сущностных сил оказались пшиком отнюдь не по вине кино, а по вине самого способа производства его эксплуатирующего. Всего лишь при смене формы общественного богатства вырождающееся кино мгновенно рождает себя в совершенно иной не то, что ипостаси, но и в сущности. То же и с литературой, поэзией, музыкой и живописью. Пока и по преимуществу — это голая технология или того хуже идеологический диктат техники, машинерия. Пока же при современном состоянии ампутированного духа анализировать что было нечего, только что было. Да и нечем, так как философия выродилась, равно как и сама способность мыслить. Пройден последний предел, болевой порог. Все эта шумливая возня, весь этот базар, торжище — «общество спектакля», шум и гам, сопровождающий всякий рынок, не имеет под собой предметных оснований, только гноище фетишизированных вещей, с оголтелым пиаром бесконечных премий, лауреатств, конкурсов и прочей ерундой, что коснулось уже и науки.

Человек, предающийся праздности усиленно старается веселиться, не лентяй, преодолевая чувство покоя, и веселиться-радоваться из чувства долга, потому что и не хочется, но жаль упустить такую возможность. Это не проблема, а простая констатация, феноменологическое описание, которое так же беспомощно, как и праздность. Проблема в том, как и чем спастись? Потому что действуя в праздности праздно (вернее праздным образом, следуя представлениям о праздности) как в заместителе свободы предстоящей (я вовсе не морализирую) замечаешь, если осталась хоть толика рефлексии, отмечаешь, что не развиваешься, но деградируешь, не растешь, а опускаешься, несмотря на все возможное и сверхвозможное сопротивление. Все усилия направлены на поддержание мышления и чувств на прежнем уровне, а они от перегрузок

и неестественности происходящего в лучшем случае становятся стимуляторами и наркотиками, оказывая галлюциногенное воздействие. И главное не сойти с ума, и горе тому, кто с этими сбереженными чувствами еще чувствует. Однако в этом унылом современном сумасшедшем доме, грязном и забитом замкнутом пространстве мозг затухает как в камере-одиночке. Он умирает от одиночества. Наше время необитаемо. Оно безлюдно. При этом всеобщем равнодушии тебя все равно так или иначе будут заставлять во всеобщем веселье, (даже если это массовые казни и ты жертва или палач, все равно), потому что надо быть как все, и сам станешь участвовать во вселенском гвалте, по нынешнему, корпоративе, потому что индивидуальные средства защиты, контрацептивны индивидуализма не спасают. Ни индивидуализм, ни уход от мира, ни схема невозможны, потому что включены в список развлечений. Никаким сопротивлением духа от этого не защититься. Хотя, если хочется — то можно.

Праздность не знает альтернатив. Здесь невозможно заниматься делом, чтобы оно немедленно не превращалось в делопроизводство, хотя бы речь шла о самой любви. (Ублюдочное «делать любовь», сменило ее было высокий и ранний полет на откровенную порнографию, проституцию, которые прикрываются ханжескими, тупыми как параграфы устава всячески рекламируемыми «семейными ценностями»). Праздность нелюбива. Она только делает любовь, вернее делает вид и за хорошие деньги.

Любопытно только то, что в этот отстойник попадают очень многие, потому что между Заботой и Праздностью существует расселина, куда проваливаются как в преисподнюю.

Казалось бы — суть праздности в отсутствии не только дела, но и долга. Однако, по сути праздность — это не только порождение крайней Нужды и Заботы (пределов ее), но и сама — концентрированное выражения тотальной заботы и страшного чувства долга как такового, эссенции нужды — и долга перед жизнью,

ну и заодно перед собой не в последнюю очередь. (И все что наваливали великие «должники» Кант и Кьеркегор оказывается смехотворным по сравнению с дальнейшим развертыванием этого. Они не открыли природу долга, но зато выпустили долг на свободу, персонифицировав его и наделив онтологическим статусом.)

Собственно праздность. Как она есть — зеркало, некий зеркальный предел, потому что человек, я не беру состояние скотины с «физиологическим идеализмом» видит себя таким, каким хотел бы быть, сохраняя при этом смутное сознание каков он есть на самом деле. И эта разница не порывается самодовольством, которое дает ему праздность. А уж если ему случается видеть таким, каким бы он мог быть, то праздность просто вгрызается и уничтожает напрочь, отбрасывая обратно и порождая неутолимую и неудалимую тоску, ни дали ни доли, — она не судьба. (Насколько можно быть точным, то праздность зеркалится, троясь. Показывая человека каким он мог бы быть, каков он есть по истине, и каким он не будет никогда ни при каких возможностях.)

Праздность — действительно свободное от постоя пространство, но видимость свободы, которая растекает, не потому что она плохая или хорошая, потому что она никакая свобода. Она поэтому неуловима. Содержит в себе все и ничего, она бескачественна. И буквально «никоим образом», потому что при всей однозначности — значений не имеет. Все качества привнесены, да и образы тоже. Ей присущи все эпитеты: она весела и грустная, трагичная и комичная, пошлая и возвышенная, ленивая и деловая, гениальная и бездарная, постыдная и благородная, сентиментальная и цинична и т. д., и все это существует и не существует одновременно — она не разная — она любая и всякая и всякому, работая на потребителя, услужливо подлаживаясь под слабость каждого. Поэтому ее невозможно да и не нужно ни осуждать ни оправдывать, а тем более призывать кары небесные на ее вполне земное происхождение. Ее надо принимать

или не принимать, пользоваться моментом или превращать в случайно найденное пространство для реализации творческих и не очень замыслов, да и не плохо бы. Чтобы она принимала или нет и была благосклонна. Не великая хитрость в том, что если праздность использовать как найденное свободное время для невероятной свободной деятельности, то вы отторгаетесь и уже не праздны. Поскольку это время определяется, не овеществляется в произведении, а еще лучше в самом способе дела. Сам становишься свободным способом дела, но при условии, что этот поступок сохраняет некоторую толику совести, не позволяющей забывать. Что это свободное время ворованное у непосредственного создателя его. И это не господствующий класс.

Праздность тем и интересна. Что в сущности невозможна, но есть. И весь ее бессмысленный смысл в том, что она представляет собой нет, не бездну, — абсолютную пустоту, которую праздный наполняет не менее абсолютным значением. Он весь и без остатка. Здесь неопределенна праздность, но не праздный. Он точно определен в тех суровых пределах, в которых существует, в каждой точке своего существа. Существования в прошлом, настоящем и будущем. Этим она и страшна, что здесь во всех миражах, видениях, желаниях, кажимостях невозможно заблуждаться относительно себя, что бы ты ни воображал и как бы не думал. Ты ровно в тех пределах, которые ты сам и ровно столько тебя, сколько ты есть с точки зрения человеческой сущности. Ты в себе-тождественности. Праздность не имеет смысла определять, но можно определиться, хотя ориентиров и привязок нет, — это не свобода, это невесомость со странными свойствами, она исполняет все желания, даже желание не желать вовсе, но в отличие от уже упомянутой комнаты в «Сталкере», она выполняет их все сразу, аннулируя и оставляя вас наедине с собой самим, если вы еще есть. Так будьте же вы все праздными!

Анотація. Стаття присвячена екзистенціальній категорії «порожності» у контексті її проявів у повсякденному житті та її привнесеним зовні рисам у найголовніших проявах та варіаціях, як то: марність, бездіяльність, безнадійність, гультяйність, дозвільність тощо. І все це з точки зору не моралі, але у суто філософському вимірі як способі буття без рефлексії.

Ключові слова: порожність, бездіяльність, свобода, воля, час, простір, ніщо, буття.

Аннотация. Статья посвящена экзистенциальной категории праздности в контексте ее проявления в обыденной жизни и ее привнесенным извне качествам в основных вариациях вроде: напрасность, бездеятельность, безнадежность, разгульность, досужность и т. д. И все это не с точки зрения морали, а в сугубо философском контексте как способе бытия без рефлексии.

Ключевые слова: праздность, бездеятельность, свобода, воля, время, пространство, ничто, бытие.

Summary. The article is devoted to the existential category of «emptiness» within the context of its manifestations and its features taken from the outside such as: hopelessness, vanity, idle freedom and so on. All above mentioned features are not viewed in the moral dimension but from the philosophical point of view, as a mode of being without reflection.

Keywords: emptiness, vanity, will, time, space, nothing, being.